

ELENA MIKHALIK

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (Warszawa)

**ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КОНФЛИКТА „СВОЙ-ЧУЖОЙ”
В МЕМУАРАХ ПОЛЯКОВ, СОСЛАННЫХ В ПРИКАМЬЕ
В 1940-Х ГГ. (НА МАТЕРИАЛЕ ВЫБРАННЫХ
ВОСПОМИНАНИЙ)¹**

The political aspect of the “friend”-“foe” conflict in the memoirs of the Poles exiled to Prikamye region in 1940s (based on the material of selected recollections)

This article analyzes the perception of Soviet Russia by the Poles who have been exiled to the territory of modern Perm Region in the 1940s as a result of Stalin's repressions. The research of the texts of recollections written by former exiles between middle 80's and late 00's shows that the political aspect has played the most significant role in the way the exiled Poles perceived the Soviet reality. Their perception was to the great extent was formed by political aspect. The "Friend" – “foe” conflict that is central for the Polish exile camp's memoirist achieves the maximum sharpness and intensity in the political space. Distinctly antagonistic attitude of the exiled towards the Soviet state and the Communist ideology extended to cover all the following spheres of Soviet life without exception: household, ideological, sexual and linguistical.

Keywords: Polish; Perm region; politics; repression; memories; nonfiction.

Выход в свет в последнее десятилетие большого числа совместных польско-российских исследований, как, например, «Поляки и русские в глазах друг друга» (2000), «Сибирь в истории и культуре польского народа» (2002), «Россия-Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре» (2002), «Русская культура в польском сознании» (2009), свидетельствует об устойчивом двустороннем интересе к проблеме польско-российского взаимодействия, понимаемом в самом широком смысле слова. Вместе с тем, ряд аспектов этого взаимодействия продолжает оставаться недостаточно изучен-

¹ Статья подготовлена при поддержке гранта Российского Гуманитарного Научного Фонда № 12-14-59004а/У.

ным. Так, например, мемуаристика, созданная поляками, оказавшимися в 40-е гг. на территории СССР, относительно мало исследована российскими специалистами: культурологами, лингвистами, литературоведами. Лишь отдельные, наиболее известные книги воспоминаний польских ссыльных становились ранее предметом анализа отечественных ученых. К таким введенным в научный оборот текстам можно отнести вышедшие в свет в 40-50-х гг. XX века произведения Ю. Чапского, М. Ваньковича, Б. Обертыньской, Г. Херлинга-Грудзиньского, Б. Скарги, Т. Виттлина, Я. К. Умястовского и некоторые другие. В то же время за пределами исследовательского внимания остался целый пласт польской мемуаристики, созданной бывшими ссыльными в период с середины 80-х до конца 2000-х гг. В данной работе в качестве материала для изучения выступает ряд текстов воспоминаний, принадлежащих полякам, сосланным в качестве спецпереселенцев и заключенных на Урал (главным образом, на территорию современного Пермского края).

Как показали предыдущие исследования, посвященные польской лагерной мемуаристике, одним из центральных конфликтов, вокруг которого строится «сюжет» воспоминаний ссыльных, является конфликт «своего» (польского) и «чужого» (российского/советского)². По замечанию В. Я. Тихомировой, «этническое самосознание поляков, вырванных из привычного мира и брошенных в иную реальность, консервируется и герметизируется. В нем происходит резкий разрыв между “чужим” и “своим”»³. В целом характер отношений между мировоззрением и культурными практиками поль-

² В. Тихомирова, *Русская/советская культура в польском восприятии: интерпретация лагерной прозы*, [в:] *Русская культура в польском сознании*, Москва, 2009, с. 234.

³ *Ibidem*.

ских ссыльных и окружавшей их советской действительностью можно охарактеризовать как ярко выраженный антагонизм. С особенной силой этот антагонизм проявлялся в политическом поле: подавляющее большинство рассмотренных текстов воспоминаний содержит резкую критику советского строя и господствовавшей коммунистической идеологии.

Одним из ярких примеров такого рода критики являются размышления С.Кулона (род. в 1930), известного польского скульптора и резчика по дереву, профессора Варшавской Академии Изящных Искусств, вывезенного в феврале 1940-го года из Тернопольской области (совр. Украина) на Урал. С точки зрения С.Кулона, советский строй представлял собой «бесчеловечную систему, в которой личные, интимные страдания, ностальгия, милосердие не имели значения, а сострадание было предано анафеме как чуждое и враждебное, и даже минимальную солидарность по отношению к страдающему нужно было в зародыше ликвидировать»⁴. По мнению С.Кулона, одной из главных черт советской системы является её глубокая аморальность, приводившая к уничтожению в душах людей доброты и милосердия: «В последнее время об этой стране – Рае Человечества – пишется и говорится, что это „бесчеловечная земля“. А чем виновата земля? Знаю, что это своеобразная поэтическая метафора. Это не земля, только “бесчеловечные люди”»⁵.

Политическая составляющая занимает в воспоминаниях С.Кулона очень существенное место. Так, изображая различные конфликты, возникавшие у ссыльных с представителями власти, автор

⁴ S. Kulon, *Z ziemi polskiej do Polski. Wspomnienia 1939 -1958*, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 2008, s. 85. Здесь и далее перевод с польского мой – Е.М.

⁵ *Ibidem*.

демонстрирует и их политическую подоплеку. Например, описывая учительницу, усмотревшую в действиях мальчика, пририсовавшего Сталину с Лениным бороды, «вражью работу», Кулон особо подчеркивает её преданность коммунистическим идеям: «Эта молодая учительница была очень злобной. Комсомолка до мозга костей, она ежедневно носила красный галстук или косынку и от этого пламенного красного цвета сама вся была красная, несмотря на то, что волосы у неё были черные»⁶. Сходным образом показана другая «молодая комсомолка», директор детского дома в Кудымкаре, оттаскавшая маленького Кулона за уши и обвинившая его в «угнетении детей работников и крестьян»: «После перемены меня вызвали в кабинет директора школы. Это была молодая комсомолка, откуда-то из далекого Казахстана, которая сначала меня отругала, а потом начала драть за уши. Я думал, что она мне их повырывает, при этом она кричала по-русски: – А ты маленькая сволочь, ты поляк, который угнетает детей работников и крестьян! Слова выплевывала из себя с такой яростью и так быстро, что я не очень понимал их смысл. Я не совсем понимал, что имеется в виду, когда она визжала: - Вы, паны полячки, мы боремся с такими, как ты!»⁷ Таким образом, с точки зрения Кулона, приверженность коммунистическим идеалам равносильна жестокости и бездушию, он проводит резкое разграничение между людьми «старой» и «новой» морали: «Жили ещё люди, в которых не до конца уничтожена человечность, и которые обладали мужеством оказывать бескорыстную помощь и выражать сочувствие, люди старой закалки, люди, воспитанные ещё в царской России. В то же время у молодых, воспитанных в новой комсомольской системе, на новых тезисах Лени-

⁶ *Ibidem*, s.43.

⁷ *Ibidem*, s.75.

на, не было уже естественных человеческих рефлексов, таких, как сочувствие, лояльность в отношении семьи, друзей»⁸.

Приведенная цитата свидетельствует, что отношение Кулона к россиянам отнюдь не сводится к однозначному их неприятию, напротив, автор охотно вспоминает об оказанной ему и его близким помощи со стороны местных жителей, с благодарностью рассказывает о враче детского дома в Пешнигорте, находившей для маленьких польских сирот слова участия и поддержки, о воспитательнице, которая помогла польским детям перебраться в детский дом в Ростове-на-Дону. Будит искреннюю симпатию у Кулона проявление россиянами религиозности, поскольку, в отличие от насаждаемой властью «веры» в заветы Ленина и Сталина, вера в Бога, с его точки зрения, относится к числу подлинных ценностей. Весьма поэтично описывает Кулон сцену молитвы, свидетелем которой он случайно стал, находясь на Урале: «В тёмном уголке, на небольшой полочке, покрытой белой тряпицей стоял маленький святой образок с позолоченным фоном. Это была маленькая русская икона. По декору этого уголка я догадался, что это мог быть семейный алтарь. Задремывая, я заметил, что хозяин и хозяйка подошли к иконе, обернулись и проверили, спим ли мы. Снова повернулись к своему алтарю, троекратно перекрестились и долго со склоненными головами стояли перед святой иконой. В конце молчаливой молитвы снова три раза повторили крестное знамение»⁹.

Отмечает автор красоту небогатых деревянных русских изб города Кудымкара, куда он отправился навестить умирающего брата Казика: «Это был маленький городок, на краю уральских лесов, весь из сосновых бревен. В нем стояли маленькие одноэтажные домики

⁸ *Ibidem*, s.85.

⁹ *Ibidem*, s.34.

и усадьбы прекрасного, простого старорусского теса. Въездные ворота, заборы и оконная резьба отличались богатой орнаментикой, очень красивым декором деталей, выполненных с большим художественным вкусом»¹⁰. В то же время приметы советского строя: монументальные скульптурные изображения Ленина и Сталина при входе в здание райкома Кудымкара - кажутся автору безобразными, и описание их приправлено изрядной долей сарказма: «...нашел все в красном здании Райкома, где стояли две мощные фигуры из бетона: Ленина и Сталина. Стояли рядом на белых постаментах, а между ними проходила главная улица Кудымкара. Ленин был в плаще, правую руку держал высоко поднятой и указывал ею светлый путь. Сталин, той же самой величины, что и Ленин, был одет в генеральские штаны и военный мундир, красиво и гладко причесан и тоже держал правую руку высоко, как бы с энтузиазмом приветствуя всех входящих в Райком. Оба отличались как белизной, так и чванливой величиной на фоне серых, убогих изб, как бы молчаливо заявляя: - мы ещё вам покажем»¹¹.

Вообще говоря, именно Сталин оказывается в воспоминаниях Кулона квинтэссенцией всего самого отвратительного, низкого, жестокого и бесчеловечного, что было в советском режиме. Без всякого сомнения, с точки зрения Кулона, у коммунизма лицо Сталина, тирана и диктатора. На него лично возлагает Кулон ответственность за гибель своих близких: обоих родителей и троих младших братьев. Интонация, с которой автор говорит о Сталине, варьируется от иронии и сарказма до неприкрытого гнева, она почти никогда не бывает нейтральной.

¹⁰ *Ibidem*, s. 78.

¹¹ *Ibidem*, s. 87.

Образ Сталина появляется и в воспоминаниях других сильных, при этом некоторые авторы подчеркивают личный характер своей к нему неприязни. Так, о своей сильнейшей ненависти к советскому вождю пишет в книге мемуаров «Почему?» К. Ожеховская-Юзьвенко. В 1940-ом году она вместе с родителями была депортирована из Пинска (совр. Респ. Беларусь) в Архангельскую область, откуда в 1941 г. после подписания соглашения Майского-Сикорского её семье с большим трудом удалось перебраться в г. Кунгур Пермской (Молотовской) области. Здесь в 1943 г. её отец был арестован, приговорен к 15 годам лагерей, а в 1947 г. убит одним из заключенных. Рассказывая о своем пребывании в Кунгуре, Ожеховская-Юзьвенко отмечает огромную роль пропаганды, с помощью которой советская власть легко манипулировала сознанием своих граждан, в том числе детей и подростков: «В описании пережитого мной особенного внимания заслуживают примеры силы советской индоктринации. Это было результатом организованной, пронизывающей каждое явление жизни, советской пропаганды, окружавшей людей с самого раннего их детства. Когда я жила на улице Ленина 5 в Кунгуре, у меня был приятель, сосед, звали его Владимир (Вова) Шавкунов. Это был очень впечатлительный мальчик, которого судьба одарила талантом художника. К несчастью, главным объектом его художественного творчества было лицо Сталина, которое он рисовал мягким карандашом в различных версиях. Свидетельством его обожания и глубокого чувства привязанности ко мне было то, что я оказывалась забрасываема портретами преступника, нарисованными моим ближайшим другом. Для меня это было источником сильных душевных противоречий и психологического дискомфорта. Также испытывая к нему дружеские чувства, я не была способна тотчас же, на его глазах уничтожить эти подарки. Однако же после

ухода приятеля я это делала, всегда систематично и очень тщательно разрывая в мелкие клочья или, время от времени, сжигая ненавистное лицо»¹².

В воспоминаниях Л.Кожуха, вывезенного в 1940 году в Юрлинский район Пермской (Молотовской) области, Сталин – один из непосредственных инициаторов репрессий в отношении поляков, обрекших огромное количество ссыльных на муки и смерть: «...мы сидели у костра, испекли кусочек хлеба над костром, поели, обменялись праздничными пожеланиями, и слезы потекли по нашим щекам, и тихая молитва к Богу, чтобы освободил нас с той каторги, которую приготовил нам Сталин, Берия и Молотов»¹³, «Бог позволил, чтобы часть из нас пережила этот сталинский ад»¹⁴.

Идея личной ответственности Сталина за создание аморальной и бесчеловечной тоталитарной системы неоднократно появляется и на страницах воспоминаний профессора Владислава Корча (1913-1997), осужденного в 1944 г. за участие в деятельности подпольной организации «Армия Крайова» и этапированного в лагерь, находившийся в Прикамье. Написанная им книга воспоминаний «Одно моё десятилетие 1939-1948. Дорога через лагеря», содержит много интересных наблюдений над функционированием тоталитарной советской системы, а также авторские рассуждения о её страшном воздействии на человека. Как и С.Кулон, Корч отмечает отсутствие в советских людях самых простых естественных чувств, но если С.Кулон винит в этом разлагающее влияние коммунистической

¹² K. Orzechowska-Juzwenko, *Dlaczego? Wspomnienia syberyjskie i inne*. Wrocław, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu 2011, s.44.

¹³ Archiwum wschodnie ośrodka. *Karta wspomnienia Ludwika Kozucha* Sygn. ZS 152, s.5.

¹⁴ *Ibidem*.

идеологии, то Корч склонен объяснять данное явление масштабом репрессий: «Российское общество было настолько подавлено сталинским террором, что исчезли чисто человеческие рефлексии сочувствия...»¹⁵. В отличие от Кулона, Корч не изображает «идейных коммунистов», напротив, приводит свидетельства бессилия советской пропаганды и неприязненного отношения населения к режиму: «...мы сказали, что мы поляки, и тогда этот человек, которого мы ни о чем не спрашивали <...> начал говорить, что он с Украины, и когда в 1941 г. немцы наступали, он был уверен, что кончится власть коммунистов <...> Мы были изумлены безрезультатностью продолжавшейся столько лет коммунистической пропаганды»¹⁶.

Для В.Корча весь Советский Союз – это один огромный лагерь, раскинувшийся на тысячи и тысячи километров: «По правде говоря, ни на одной карте Советского Союза не был обозначен архипелаг Государственное Управление Лагерьей, но ведь в годы сталинской диктатуры на архипелаге ГУЛАГ жили около 15 миллионов рабов красного террора!»¹⁷. При этом лагерь в осмыслении Корча выступает как пространство, где всё подчинено стремлению унижить человека, лишить его надежды, сил, достоинства, сломить и, в конце концов, уничтожить. Мотивы отсутствия свободы, угнетения, рабства становятся постоянными при описании Корчем советских реалий: «...на архипелаге ГУЛАГ жили около 15 миллионов **рабов** красного террора»¹⁸, «Российское общество было настолько **подавлено** сталинским террором...»¹⁹. Мотив неволи возникает

¹⁵ J. Korcz-Dziadosz, *Życie z sensem*, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 2002, s.76.

¹⁶ *Ibidem*, s.80.

¹⁷ *Ibidem*, s.89.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ *Ibidem*, s.76.

и при характеристике россиян. Будучи свидетелем тяжелейших условий труда в тайге, Корч делает вывод, что нечто рабское, должно быть, заключает в себе сама натура россиянина, если он безропотно соглашается выполнять подобную работу: «На вывозе поваленных мощных деревьев работали самые сильные. Их работа привела меня в изумление, заставив задуматься над **подневольным** характером россиян. В их безумной работе не было видно ни малейшего протеста против бесправия, жертвами которого они являлись, забыв про свою ситуацию, они управлялись с работой в нечеловеческом темпе, без какой-либо попытки от неё увильнуть»²⁰. Наблюдая за реакцией жителей Перми на марширующую колонну заключенных, Корч констатирует полное безразличие пермяков к данному зрелищу: «15 июня 1947 года вместе с несколькими десятками других заключенных нас под конвоем препроводили на речную пристань в Перми. Марширующая колонна заключенных не будила ни малейшей заинтересованности. Жители этого города ссыльных (уже в XIX веке Пермь была известна как место пребывания многих ссыльных) равнодушно проходили мимо марширующей колонны»²¹. Таким образом, с точки зрения Корча, советское общество оказывается не способным сопротивляться государственному террору, что автор склонен объяснять в том числе естественной склонностью россиян к подчинению²².

²⁰ *Ibidem*, s.83.

²¹ *Ibidem*, s.81.

²² Представляется очевидным, что в данном случае авторская интерпретация наблюдаемых конкретных явлений и фактов во многом predeterminedена воспринятыми ранее устойчивыми в польской культуре стереотипами о рабской покорности русского народа, восходящими, в том числе к литературе польского романтизма. См. об этом подробнее Хорев В.А., *О живучести стереотипов*, [в:] *Россия – Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре*, Москва 2002, с. 18.

В свою очередь сам Корч с первых минут пребывания в неволе принимает решение, насколько возможно, противостоять системе, не позволить ей себя уничтожить. Он ставит перед собой цель – выжить и возвратиться домой к жене и дочери, несмотря на всю мощь направленной против него репрессивной лагерной машины: «Явственно ощущалось уменьшение сил, а ведь нужно было это выдержать»²³, «И я твердо придерживался решения вернуться домой к Хеле и Ядъзе»²⁴, «Я по-прежнему ежедневно повторял себе, что выдержу, но лагерь постепенно высасывал силы»²⁵. Для Корча «выдержать» – значит не только выжить физически, но и сохранить в себе человека, человеческое достоинство и культуру. Этот момент очень важен, поскольку красной нитью через воспоминания В.Корча проходит идея о принципиальной враждебности лагеря и, шире, советского строя культуре. Мир лагеря – мир антикультуры, в котором оказываются попранными все традиционные человеческие ценности: любовь, добро, красота, свобода.

Свидетельства враждебности советского строя культуре обнаруживаются в самых разных сферах жизни: бытовой, идеологической и даже языковой. Воссоздавая на страницах своих воспоминаний лагерную атмосферу, В.Корч, нередко использует нецензурную русскую лексику, демонстрируя тем самым уровень лагерной «культуры» и характер отношения к заключенным, многие из которых, как и сам автор, сидели незаслуженно, но, тем не менее, ежедневно подвергались психологическому унижению: «Начальник посмотрел на меня, как на мерзкую гадину, и с отвращением

²³ *Ibidem*, s.73.

²⁴ *Ibidem*, s.85.

²⁵ *Ibidem*, s.89.

прошипел сквозь зубы „иди ты на хуй”»²⁶. Отношение к русскому языку в мемуарах Корча можно охарактеризовать как противоречивое: с одной стороны, он называет русский язык «ненавистным» и «языком моих врагов», с другой – учит его, находясь в лагере, и благодаря знанию русского языка имеет возможность познакомиться с классической русской литературой: произведениями М. Горького и Л. Толстого. Осознавая присутствие этого противоречия и стараясь его снять, автор разделяет русский язык на «лагерный» и «высокий», подчеркивает, что между ними существует исключительно мало общего: «язык, которым пользовался Горький, имел мало общего с омерзительным языком, который каждый день я слышал в лагере»²⁷.

Вообще говоря, правильное понимание проблемы восприятия ссыльными поляками русского языка невозможно без учёта политического фактора: поляки, оказавшиеся в спецпоселениях и лагерях, осознавали себя жертвами и жертвами, в первую очередь, политическими. Советский Союз воспринимался как государство-агрессор и оккупант, соответственно государственный язык СССР – русский язык – был языком «врага». Кроме того, среди депортированных остро стояла проблема русификации (в особенности детей), на что обращает внимание, например, К. Кошч, которая отмечает: «Большую часть дня дети были предоставлены сами себе, вследствие чего быстро заводили знакомства с местными, у которых учились русскому языку. Всё чаще они использовали его и в ежедневных контактах, поскольку не хотели отличаться от своих сверстников, а кроме того, русский язык становился для них естественным средством коммуникации и восприятия реальности. Угроза атеи-

²⁶ *Ibidem*, s.85.

²⁷ *Ibidem*, s.74.

зации и русификации становилась особенно реальной в случае обучения в российской школе»²⁸.

В то же время, несмотря на сложное отношение поляков, переживших ссылку и неволю, к русскому языку, в своих воспоминаниях они используют его весьма охотно. Все без исключения рассмотренные источники содержат русскую лексику, что объясняется, по всей видимости, стремлением авторов придать повествованию достоверный, документальный характер, по возможности точно передать атмосферу ссылки. При написании русских слов авторы используют латиницу, стараясь воспроизвести их фонетический облик, вместе с тем графически, как правило, эти слова выделяются курсивом, кавычками или прописными буквами, не сливаясь с основной массой текста. Кириллическое написание в текстах воспоминаний не встречается, за исключением мемуаров С.Кулона, где надписи на русском языке сопровождают некоторые карандашные рисунки, составляющие неотъемлемую часть текста. И в этом случае в языке подписей можно обнаружить смешение русских и латинских букв, например, латинского N и русского И, ошибочное написание некоторых названий: «Рен-ком» вместо «райком» (районный комитет) и др.

Количественный и качественный характер использованной бывшими ссылными русской лексики у разных авторов значительно различается: в одних текстах встречаются единичные употребления русских слов, в других – представлен широкий спектр российской лексики, описывающей различные сферы жизни ссылных. Наи-

²⁸ K. Kość, *Żywi we wspomnieniach. Doświadczenia śmierci w relacjach polskich zesłańców w ZSSR (w latach 1940-1946)*, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2008, s. 141.

большее число русских слов встречается в мемуарах В. Корча, Ю. Данеля²⁹ и С. Кулона.

Среди всего многообразия использованной ссыльными лексикой можно выделить несколько тематических групп: 1) предметно-бытовую русскую лексику (*кипяток, чугуны, книга, валенки, водка, вьюга, щи*); 2) лагерную лексику и жаргон (*начальство, паёк, подьем, оздоровительный пункт (ОП), культурно-воспитательная часть (КВЧ), доходяга, лагерник, придурок*); 3) лексику, связанную с коммунистической идеологией (*ударник, враг советского народа, вражья работа*); 4) местную и региональную лексику (*плюйка* (название рыбного супа), *кирпичики* (название буханок хлеба)); 5) нецензурную лексику.

Среди всех рассмотренных текстов воспоминаний лишь в мемуарах Корча русский язык оказывается языком так называемой «высокой» культуры, тогда как во всех остальных случаях использованная ссыльными русская лексика обслуживает в первую очередь бытовую сферу и/или связана с коммунистической идеологией.

Ещё одной сферой, в которой с особой яркостью проявляется «антикультурность» советского строя, оказывается сфера интимная. Во многих рассмотренных текстах упоминаются сексуальные отношения, и, хотя они практически никогда не становятся предметом специального внимания, представляется возможным сделать определенные выводы об отношении авторов к данному явлению. В первую очередь обращает на себя внимание факт, что основополагающий конфликт «свое – чужое» сохраняет здесь своё значение, конкретизируясь в противопоставлениях «целомудренный – развратный», «чистый – грязный», «верный – неверный». Не всегда

²⁹ Archiwum wschodnie ośrodka. *Karta wspomnienia Józefa Daniela Sygn.* AW II/1916

оба члена оппозиции с равной степенью представлены в текстах, но само наличие противопоставления подразумевается. Так, например, упоминавшиеся выше «молодые комсомолки» Кулона, помимо беззаветной преданности коммунистическим идеалам, отличаются большой темпераментностью и склонностью предаваться любовным утехам в не совсем подходящих для этого местах: «В школе нас учила упомянутая кудрявая комсомолка и один учитель. Очень таинственный, он слегка хромал и временами улыбался половиной лица; вторая половина была неподвижная, возможно, он был ранен выстрелом или после какого-нибудь несчастного случая – неизвестно. Как выяснилось позднее, эта пара часто оставалась после уроков в одной классной комнате, якобы в целях исправления наших сочинений, но через деревянные стены до нашей пристройки доходили пiski, крики и стоны молодой комсомолки»³⁰. Очевидно, что для автора такого рода «отношения» являются лишним подтверждением падения нравов среди идейных сторонников коммунизма, чья «любовь» может вызывать смех и брезгливость. Не менее карикатурно выглядит портрет ещё одной «влюбленной пары»: директора детского дома в Кудымкаре и солдата-инвалида: «Через какое-то время я сориентировался, что молодая комсомолка, которая меня так отгаскала за уши, флиртовала с солдатом-инвалидом, который учил нас военному делу. Она была невысокого роста, с вьющимися черными волосами и такими же точно черными сверкающими глазами, фигура в стиле позднего барокко и попа как раз около коленей. Солдат, у которого не было одной ноги и который ходил на костылях, был блондином на вид довольно костлявым, как нам говорил, ногу он потерял в борьбе за родину и Сталина, чем

³⁰ S. Kulon, *Z ziemi polskiej do Polski...*, *op.cit.*, s.44

был очень горд»³¹. Физически непривлекательным, агрессивным и распущенным «комсомолкам» противопоставлен образ матери автора, своей кротостью, красотой, религиозностью и любовью к детям явственно напоминающей Деву Марию.

В воспоминаниях Корча можно обнаружить ещё более резкие высказывания, касающиеся советских женщин, сотрудниц лагерей: «А в самом лагере шаталось более десятка женщин, происходивших из, наверное, самых отвратительных социальных болот. Омерзительные существа, вызывающие отвращение своей внешностью и более чем хамским поведением»³². Если «молодые комсомолки» Кулона готовы уединяться с мужчинами в школьных кабинетах, то сотрудницы лагерей идут намного дальше и используют для «свиданий» места уже совсем для этого не предназначенные, а именно «мерзкие, зловонные» лагерные клозеты. Сам автор неожиданно для себя стал объектом интереса одной из таких женщин, о чем он рассказывает с большой долей сарказма: «В связи с моим необычным среди осужденных увлечением (имеется в виду любовь к чтению – Е.М.) я возбудил интерес к себе руководителя библиотеки – рослой блондинки в звании младшего лейтенанта. Я, однако же, был чересчур подавлен, чтобы отвечать на эти сигналы. А сигналы эти имели вполне однозначную цель, поскольку вскоре после этого она была поймана с поличным с одним молодым, но более сообразительным заключенным»³³.

По наблюдениям Корча, сексуальная жизнь в лагере нередко бывает связана с насилием, что тоже не добавляет ей привлекательности. С осуждением рассказывает Корч о случаях изнасило-

³¹ *Ibidem*, s.75.

³² J. Korcz-Dziadosz, *Życie z sensem*, *op.cit.*, s.77.

³³ *Ibidem*.

вания привезенных в мужской лагерь заключенных-женщин: «Вечером я с величайшим изумлением наблюдал, как более десятка русских с обезьяньим проворством перемахнули через ограждение и исчезли за дверями женского барака. Утром, когда женщины вышли на работу, я узнал о жестоких изнасилованиях в отношении беззащитных женщин, повторявшихся неоднократно»³⁴.

Царящим в сталинских лагерях разврату и насилию, которые, безусловно, воспринимаются автором как одна из форм «обесчеловечивания» людей, Корч противопоставляет собственную верность жене. Любопытно, что эта верность не только вызывает удивленное уважение окружающих, но и определенным образом материально вознаграждается: «В то время как мои сотоварищи из артистического ансамбля и “придурки” двинулись в женские бараки, я уселся на крыльце перед дверями кухни. Ко мне вышла молодая девушка, удивленная, что я не иду к “жене”, когда я объяснил ей, что у меня есть жена, но далеко отсюда, а другой я не хочу, она вынесла мне две полные миски густой баланды (вареной муки), когда же я их молниеносно умял, она принесла ещё две, из которых я съел содержимое одной. Первый раз в лагере я был сыт!»³⁵.

Мотив сохранения верности появляется также в воспоминаниях Анны Щепановской. Её муж осенью 1939 г. попал в плен к немцам, в 1940-м г. она была депортирована вместе с родственниками в Пермскую (Молотовскую) область и за 6 лет скитаний по Уралу неоднократно становилась объектом внимания российских мужчин, причем нередко это внимание принимало формы совсем для автора нежелательные, однако каждый раз ей удавалось тем или иным способом избежать физической близости. Отношение Щепан-

³⁴ *Ibidem*, s. 90.

³⁵ *Ibidem*, s. 84.

новской к советской сексуальной этике можно назвать двойственным: с одной стороны, она критически оценивает «нравы» местного населения, указывая на несоблюдение элементарных «правил приличия» в сфере сексуальных отношений: «...в этой стране было так, что жена беременна и любовница тоже, или чуть позже»³⁶. С другой стороны, она считает необходимым соблюдать понятный и россиянкам, и полякам неписанный поведенческий кодекс, в соответствии с которым сексуальная близость с женатыми мужчинами – явление общественно порицаемое, даже если эта близость явилась следствием физического насилия. Описывая имевшие место в разное время попытки изнасилования, автор каждый раз подчеркивает, что, отражая такого рода атаки, она не только сохраняла верность собственному мужу, но и приобретала большое уважение в глазах россиян, поскольку «ухажеры» были людьми женатыми: «Довольно долго он боролся со мной, пытаясь перевернуть меня на спину. Уже устал, начал сопеть со злости и, видя, что не справится, встал и дал мне пинка, так что у меня искры из глаз посыпались. Он в бешенстве ушёл, а я ещё долго носила синяк. За это меня уважали женщины в колхозе, ведь у него была жена»³⁷, «Россиянкам очень понравилась наша позиция по отношению к мужчине, который нам не принадлежал»³⁸.

Разумеется, для Щепановской, как и для Корча, сохранение супружеской верности имело ещё определенное символическое значение, было сродни сохранению верности Польше и традиционным польским ценностям, знаменовало отказ от сближения (бук-

³⁶ Archiwum wschodnie ośrodka. *Karta wspomnienia Anny Szczepanowskiej* Sygn. AW II/2278.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ *Ibidem*.

вального физического) с врагами. По наблюдениям Ожеховской-Юзьвенко, неприятие советской реальности польскими ссыльными было столь велико, что приводило к разрушению даже относительно прочных союзов. Описывая сцену прощания российских женщин со своими польскими партнерами в 1946 г. на вокзале в Кунгуре, автор сопровождает описание следующим комментарием: «...трогательным было зрелище уральских, главным образом молодых женщин, прощавшихся среди рыданий и отчаяния со своими польскими партнерами, которые в большинстве своём, вступая в новую жизнь, не хотели забирать с собой ничего, что могло бы им припоминать Советский Союз»³⁹. Лишь в единичных случаях, отмечает автор, любовь к конкретному человеку оказывалась сильнее ненависти к системе: «Число совместно выезжающих смешанных пар было ничтожным и представляло собой исключение, возможное только тогда, когда чувство перевешивало отвращение ко всему, из чего складывалось прежнее существование»⁴⁰.

Анализ текстов воспоминаний демонстрирует, что политический аспект играл самую существенную роль в восприятии ссыльными поляками советской реальности, во многом формировал это восприятие. Резко антагонистическое отношение ссыльных к советскому государству и коммунистической идеологии проецировалось на все без исключения сферы жизни советского общества, начиная с бытовой и заканчивая областью языка. Не стала исключением в этом плане и сфера интимных отношений, где личное интерпретировалось сквозь призму политического и в подавляющем большинстве случаев оказывалось подчинено политическому.

³⁹ К. Orzechowska-Juzwenko, *Dlaczego?... op.cit.*, s.101.

⁴⁰ *Ibidem*.

Можно констатировать, что именно в политическом поле конфликт между «своим» (польским) и «чужим» (российским/советским) приобретал максимальную остроту и напряженность. Желая смягчить остроту этого конфликта и не переводить его в этническую плоскость, некоторые авторы воспоминаний настаивают на разделении понятий «советское» и «российское». И если первое полностью отрицается и наполняется исключительно негативным содержанием, придавая воспоминаниям вполне «антисоветский» характер, то второе рассматривается как пространство возможных культурных и идейных компромиссов, воспринимается как ценностно значимое. Таким образом, в целом можно говорить о стремлении авторов воспоминаний к условной «объективности» изображения, когда неизбежное в подобных случаях апеллирование к сложившимся в собственной культуре мифам и стереотипам соединяется с отказом от прямой тенденциозности и безусловного отрицания всего «чужого».